



rocketbook

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ



Рюрик Ивнев

**Серебряный век:
невыдуманные истории**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ивнев Р.

Серебряный век: невыдуманные истории / Р. Ивнев —
«Эксмо», 2017

ISBN 978-5-699-92995-5

Мемуары Рюрика Ивнева – это интимный рассказ о драматичных событиях русской истории и людях на фоне смены вех. На страницах этой книги автор выступает на шумных вечерах и диспутах, встречается за кулисами с Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом, посещает «Башню» Вячеслава Иванова, переживает морозы в квартире Сергея Есенина, работает вместе с Анатолием Луначарским, под руководством Всеволода Мейерхольда разыгрывает роль перед призывной комиссией, но оставляет очень мало места себе. Александр Блок, Владимир Маяковский, Николай Клюев, Александр Вертинский, Валерий Брюсов, Борис Пастернак и многие другие, ставшие культовыми фигурами Серебряного века, предстают перед читателями не хрестоматийными персонажами, известными поэтами и видными деятелями эпохи, а настоящими, живыми людьми.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-92995-5

© Ивнев Р., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Александр Блок на берегах Невы	6
О Сергее Есенине	11
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Рюрик Ивнев Серебряный век: невыдуманные истории

© Ивнев Р., наследник, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Александр Блок на берегах Невы

На одну невидимую нить были нанизаны, как бусины, и это венецианское окно снимаемой мною комнаты, и ветки берез с едва раскрывшимися почками, и книга Александра Блока «Нечаянная радость», и колеблемая ветерком желтая занавеска, похожая на мантию самого солнца, которое возшло в это майское утро 1909 года только для того, чтобы взглянуть, как юный студент теряет голову не от любви, а от стихов.

Но если я потерял голову от стихов Александра Блока, то и неожиданно сделал находку – ответ на мучивший меня вопрос, почему мои стихи не печатают. Ответ был равносильен падению с Эйфелевой башни. Хотя я видел ее только в раннем детстве, но хорошо представлял, что это значит. «Нечаянная радость» Блока, казалось, убедила меня в том, что, еще не родившись, я уже умер как поэт. Забегая вперед, скажу, что через два с половиной года Александр Блок если не воскресил меня, то, во всяком случае, не подписал смертного приговора, вынесенного тогда его стихами. Он же протянул мне рецепт для воскресения.

В чем же была тайна обаяния стихов Блока? Никто из нас, тогдашней молодежи, любящей поэзию, не мог этого объяснить обыкновенными словами. Мы становились в тупик, когда кто-нибудь из «трезвомыслящих» говорил нам, что «куплеты Блока» ничто перед такими, к примеру, стихами Батюшкова:

Я берег покидал туманный Альбиона,
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем неслася гальциона,
И тихий глас певцов ее увеселял.

Нам эти стихи очень нравились, но «Незнакомка» Блока, лишенная торжественности Батюшкова и полная неведомой еще нам таинственной силы, больше волновала и кружила голову.

В то время никто из нас еще не знал, что Александр Блок, по его же словам, был лишен самого элементарного музыкального слуха. Да и вряд ли мы тогда поверили бы этому, очарованные прежде всего тончайшей инструментовкой, музыкой его поэзии.

Певучесть стихов Блока была равна соловьиной. Мы могли только чувствовать эту певучесть, но не анализировали ее.

Теперь я думаю, что, может, отсутствие музыкального слуха и сделало столь тонким и изощренным его поэтический слух.

В 1911 году его величество случай поселил меня рядом с Александром Блоком на Малой Монетной в маленьком деревянном особнячке, похожем на мальчика, заблудившегося в каменном лесу новых домов, стремительно выраставших на Каменноостровском проспекте за рекой Карповкой. Подумать только, Александр Блок проходит каждый день по улицам, по которым хожу я! И опять взрывается пласт времени и перекладывает по-своему все предметы и впечатления, ставя знак равенства между реально существующими вещами и оттенками мыслей и ощущений.

И над всем этим витает маленькое облачко все более и более увеличивающегося желания пойти к Александру Блоку. Оно вырастало, как бы пробиваясь через ограду юношеской скромности, препятствовавшей ворваться без спроса в жизнь большого поэта. Только в эти дни я понял по-настоящему, что спор с самим собой куда труднее спора с другими. Мой товарищ Юрий Ясницкий говорил мне, что если я не решусь пойти к Блоку теперь, когда он живет рядом со мной, то я уже никогда к нему не соберусь, и добавлял: «И будешь потом рвать на себе волосы».

И вот я решился. Волнуясь с каждой ступенькой все больше, поднялся по лестнице и нажал наконец кнопку звонка, от которой отскакивал раз десять, если не больше.

...Дверь открылась. Все оказалось проще, чем я ожидал. Никто меня не спросил, кто я такой, живу ли я в Петербурге или приехал из провинции и по какому делу пришел. Потом, когда я рассказывал моим сверстникам о посещении Блока, восхищаясь той простотой, с которой он меня встретил, кто-то из них пытался острить, что нет ничего удивительного в том, что автор «Незнакомки» так легко и просто принял незнакомца. Когда Блоку сказали, что пришел студент, он вышел в переднюю и повел меня в глубь квартиры. Если бы это происходило сейчас, в наши семидесятые годы, то я бы не удивился, но тогда обстановка, в которой жил Блок, меня поразила. В ней ничего не было типичного для того времени, для среднебуржуазного быта, даже обязательных, как погоны или кушак для солдата, спальни, столовой и гостиной. Александр Блок выбросил этих «трех китов» в свои большие светлые окна. Все три комнаты напоминали усеченную анфиладу. В каждой из них были широкие диваны, полки с книгами, цветами, небольшие книжные шкафы. Полное отсутствие громоздкой мебели, несколько картин, из которых я запомнил Кустодиева и Судейкина, и две или три фарфоровые вазы. Модных тогда кресел и диванов стиля «модерн» не было, стулья простые, полумягкие, но быт отсутствовал или так глубоко запрятался, что его никак нельзя было обнаружить.

Мы прошли через две комнаты в третью. Все двери были раскрыты настежь. В последней Блок остановился у одного из столиков, на котором не было ничего, кроме нескольких книжек, по-видимому, только что полученных. У меня было такое впечатление, как будто я вошел не в незнакомую квартиру, а в обжитую, где я часто бывал. И Александр Блок был простым, отнюдь не натянутым. Обычно большинство известных людей бессознательно играют роль, которую полагается играть знаменитостям. Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса, он просто начал говорить со мною как с человеком, с которым часто встречался, и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса начал ему рассказывать, что учился в Тифлисском корпусе, но не захотел поступать в юнкерское и приехал в Петербургский университет только потому, что в Петербурге у меня много родственников, в Москве – никого. Блок слушал с таким вниманием и интересом, что я рассказал почти всю свою биографию и, конечно, не скрыл, что начал писать стихи с девятьсот четвертого года, и что в девятьсот шестом году дал тетрадь моих ученических стихов преподавателю русского языка Владимиру Ивановичу Базилевичу, и как меня удивило то, что, указав на наименее слабые стихи, он ни слова не сказал про политические, вроде «Добьемся кровавой ценою свободы, желанной для всех». Блок улыбнулся, вероятно, вспомнив свои стихи девятьсот пятого года, и задал мне единственный вопрос: «Какого поэта вы больше всего любите?» Я молчал, так как сказать «вас» было бы как-то неудобно. «А стихи молодого Алексея Толстого вам нравятся?» Молодого Алексея Толстого я не читал, поэтому промолчал. Блок, вероятно, это понял и взял со стола маленькую книжечку стихов, прочел:

Родила меня мать в гололедицу,
Пестовал меня лютый мороз.

Разве это не хорошо? Или вот:

И росли золотые волосики
У меня на груди и спине.

Мне эти стихи очень понравились, но сказать «нравятся» не повернулся язык. Потом я понял, что это было глупо с моей стороны, но, наверное, объяснимо: я так был счастлив, что

разговор с Блоком шел гладко и естественно, что боялся какой-нибудь неудачной фразой все испортить. Ответил я так: «Стихи хорошие, но не такие, которые любишь до самозабвения». Александр Блок улыбнулся опять, вероятно, поняв, чьи стихи я люблю до самозабвения. Беседа закончилась тем, что я попросил его прочесть мои стихи и рассказик, напечатанные в одном сборнике. Блок взял мой адрес и сказал, что свое мнение он мне напишет.

С этого дня я только и думал о том, что мне напишет Блок. Наконец ответ пришел в лиловом конверте с черной подкладкой.

Письмо было очень суровое, но доброжелательное. Он дал мне рецепт лекарства, которое должно было вылечить меня от слепого подражания декадентам.

В шестидесятые годы я прочел в дневнике Блока: «... ноября 1911 года. Приходил студент Ковалев с честными, но пустыми глазами». И я подумал, как опасно приходить к знаменитостям. А вдруг бы он написал «с выразительными, но лживыми глазами»? Это было бы куда неприятнее. Зато в письме ко мне, в котором он подвергал строгой критике мои стихи, он писал: «Все, что Вы рассказывали мне о себе, было гораздо живее и интереснее того, что Вы пишете».

Александр Блок был замкнут не для всех, но для многих. Числясь в литературном кругу Петербурга, он в то же время как бы отсутствовал в нем, так как не любил бывать в литературных салонах и ни разу не был в кафе «Бродячая собака», хотя там очень часто бывала его жена.

У Блока было врожденное отвращение ко всякой ходульности, напыщенности, шаблону, пошлости и мещанству. Даже легкий налет пошлости раздражал его и вызывал неприязнь к тем, кто был в этом повинен.

Особенно он ненавидел «окололитературных прилипал», которые проникали во все щели помещения, в котором хотя бы чуть-чуть «пахло литературой». От них некуда было деться, и оставалось только одно – терпеть их присутствие, так как все же их услугами иногда администраторы театров и литературных кафе пользовались. Все они были назойливы и трусливы, и стоило им резко ответить, как они стушевывались. Корректный и вежливый Блок не мог произнести «резкого слова» и поэтому просто избегал те места, где мог их встретить.

Я представляю себе, как его отпугивала мысль, что какая-нибудь весьма почтенная дама, вздыхая и охая, начнет просить его, чтоб он ей рассказал, как он себя чувствует, когда создает стихи или же отвечает на вопрос: «Вы часто думаете о своей Прекрасной Даме?», или скажет: «Но кто же была эта «Незнакомка», которую вы так дивно описали?» Я убежден, что именно эти причины отпугивали Александра Блока от слишком частого соприкосновения с литературными кругами Петербурга.

...Второй раз судьба столкнула меня с Блоком через четыре года после встречи на Большой Монетной именно в одном из салонов, которые он так не любил.

Это было в 1915 году. Жене Федора Сологуба Анастасии Николаевне Чеботаревской удалось каким-то образом «заманить» Блока в свой салон.

Я был на этом вечере с моим другом пианистом Николаем Бальмонтом (сыном поэта). Александр Блок пришел позже, как всегда корректный и собранный, очень мрачный. Мрачность эта не была ни напускной, театральной, ни тем более вульгарной мрачностью опустившегося человека. Это была мрачность, одухотворенная глубоким страданием.

В ту пору публичных собраний было больше обычного, ибо война породила множество благотворительных вечеров в пользу раненых, сбора средств для фронта и т. п. Блок нередко выступал на таких вечерах. Но выступать в салоне... Однако вежливость не позволила ему отказаться, когда хозяйка вскоре попросила его прочесть «что-нибудь новое».

И вот он своим характерно глуховатым голосом, без тени скандирования, модность которого игнорировал, начал вместо «нового» читать самое подходящее к его настроению

стихотворение из цикла «Пляски смерти» (1912 год). В сущности, это была публичная исповедь, ибо всем было ясно, кто был героем стихотворения Блока. Когда он дошел до строк, как, утомившись хождением по городу,

В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем – изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка – дура и супруг – дурак...

Аудитория замерла. Я сидел на одном пуфе, спиной к спине с Николаем Бальмонтом, и почувствовал, как его спина дрожит от сдерживаемого смеха. Я посмотрел на Чеботаревскую и Сологуба. И он и она настолько были убеждены в том, что Блок читал это стихотворение без задней мысли, что все стало на свои места и прошло бы вполне благополучно, если бы вдруг не раздался визгливый смешок какой-то девицы. Но и этот смешок быстро утонул в благопристойном молчании, не вызвал, как это бывает в театрах, всеобщего хохота.

Строгое правило не аплодировать, введенное Художественным театром, было установлено и в салоне Сологуба – Чеботаревской. После того как Блок кончил читать, хозяйка сделала как бы маленький перерыв и потом попросила меня прочесть стихи. Я набрался смелости или, вернее, наглости, сидя почти рядом с Блоком, прочесть, да еще, вдобавок, яростно скандируя, стихотворение – явное подражание Блоку:

Пересекаю всю Россию,
И предо мной одно: вокзал.
И в нем горят твои слепые
И сумасшедшие глаза.

Кончив читать, я посмотрел на Александра Блока. Но у него был такой отрешенный вид, как будто он даже не слышал того, что я читал.

Ни один поэт не был так кровно связан с Петербургом, как Блок. Казалось, что он дышит петербургском воздухом даже тогда, когда бывает вдали от него. Тени Блока витают по всему городу, особенно по тем местам, где он бывал часто. Вот шпиль над Адмиралтейством. Вот неповторимый Летний сад; сколько раз гулял я с Володей Чернявским, ярым поклонником Блока, и Володя, сжимая мне руку, шептал: «Посмотри, вот идет Блок». Вот аудитория «же де пом» в университете, в которой юный Блок читал свои ранние стихи. Я помню эту аудиторию с 1908 года. От нее веяло как бы законсервированной стариной, перенося нас в Париж 1789–1794 годов. Петербург неотделим от Блока. Иной раз мне казалось, что Исаакий, Петр на вздыбленном коне, Острова, кони Клодта на Аничковом мосту и Летний сад – это не что иное, как иллюстрация к ненаписанной книге «Александр Блок и Петербург».

И вот последняя встреча. Середина декабря 1917 года... Я иду к поэту с приглашением выступить на большом митинге «Интеллигенция и советская власть». Свое согласие уже дали А. М. Коллонтай, В. Э. Мейерхольд, художник Петров-Водкин, Сергей Есенин. Блок жил уже не на Большой Монетной, столь памятной мне, а на Офицерской, вблизи Мариинского театра. Блок был один. Открыл дверь и, увидев меня, приветливо улыбнулся. Мы вошли в его кабинет. Блок был весь как натянутая струна – редко кто, пожалуй, так остро переживал тревогу за судьбу России. Когда я объяснил цель митинга, он без всякого колебания дал согласие.

О благородной позиции А. А. Блока в самые бурные дни и месяцы советской власти столько написано, что я не буду повторять известного.

Перехожу к последнему эпизоду, связанному с именем поэта.

Хотя один из моих друзей уверял меня, что подробности этого эпизода уместны лишь в новелле, а в очерке недопустимы, я все же пренебрег советом их опустить, ибо мне кажется, что это было бы равносильно тому, чтобы вырезать ножницами беленький платочек из картины Крамского «Неутешное горе» на том основании, что это «маленькая деталь».

Каждое утро как секретарь Луначарского я приезжал к Анатолию Васильевичу домой. Жил он тогда на углу Бассейной улицы и Литейного проспекта с женой Анной Александровной и четырехлетним сыном Толиком.

Утром 18 февраля 1918 года я, как обычно, приехал к нему в 9 часов. Толик почти всегда вертелся у него в кабинете во время моего доклада. На этот раз он был настроен особенно шаловливо. Возбравшись на колени отца, он его тормозил и мешал подписывать бумаги, которые я ему подавал. Луначарскому приходилось отодвигаться то в одну, то в другую сторону, чтобы Толик не свалился на пол. Малышу, очевидно, эти «живые качели» нравились, и он норовил раскатать их еще сильнее. Не знаю, чем бы кончились эти шалости, если бы не вошла Анна Александровна и не увела его из кабинета.

Кончив заниматься, мы собрались ехать в Зимний дворец. Когда садились в машину, один из наших сотрудников, Артур Лурье, протянул газету и сказал: «Анатолий Васильевич, в газете “Знамя труда” опубликованы “Двенадцать” Блока».

О том, что Александром Блоком написана поэма «Двенадцать», знал уже весь литературный Петербург.

Я наблюдал, как Анатолий Васильевич углубился в чтение, время от времени поправляя пенсне.

Солнце то выглядывало из-за туч, то пряталось. Оно, попадая своим ослепляющим лучом в стекла пенсне Луначарского, заставляло его маневрировать, отодвигаясь то в одну, то в другую сторону, совсем как недавно он отодвигался от Толика, мешавшего ему подписывать бумаги.

По выражению лица я понял, что поэма ему нравится.

Закончив чтение, Анатолий Васильевич взглянул в окно, за которым вырисовывались колонны Зимнего дворца, и сказал:

– Так написать мог только большой поэт. Это не гимн революции, но ее глубокое и искреннее понимание. Рождено оно долгим раздумьем. Этой поэме суждено бессмертие.

Когда я думаю об Александре Блоке, мне кажется, что я стою на перроне огромного вокзала и провожаю глазами медленно отходящий поезд, в котором собраны все события жизни поэта – страстная любовь к матери, женитьба, разочарование, смятение, страдания, доводящие Блока до трактирной стойки, волшебные стихи, искания, заблуждения, просветление, взлеты духа, падение и ранняя смерть. Но вот поезд исчез, окутанный сплошным туманом, а поэт стоит на перроне. Он не умер, нет, он никуда не уезжал и не уезжает...

О Сергее Есенине

Самыми правдивыми мемуарами считают «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Но я никогда не забуду, что сказал однажды Вячеслав Иванов:

«Руссо думал, что он дал предельно правдивую исповедь, но она получилось у него самой лживой, так как он исказил в ней до неузнаваемости свой собственный образ, исказил сознательно, полагая, что смакование своих недостатков есть наивысшая правдивость.

А самое большое достоинство мемуаров – это то, когда автор дает правдивый образ человека, а не одни правдивые факты».

Вячеслав Иванов сказал мне это, когда я был еще молодым человеком, когда у меня не было знания жизни, и лишь теперь, на склоне лет, я понял, насколько он был прав.

Если автору мемуаров удалось дать правдивый образ того, о ком он пишет, – значит, он честно выполнил свой долг перед историей.

Приступая к воспоминаниям о Сергее Есенине, я прежде всего руководствовался целью дать глубоко правдивое повествование.

Поэзия Есенина дорога миллионам русских людей и миллионам людей других национальностей, читающих и пишущих на русском языке.

Вот об этих миллионах людей и надо думать, когда пишешь о Есенине, стараясь, чтобы образ их любимого поэта дошел до них таким, каким он был в жизни, чтобы в своих воспоминаниях не допускать ни одного неточного факта и ни одного неточного освещения факта.

...Глубокая ночь. За окном, задернутым синей шторой, бушует выюга.

Поселок Голицыно погружен в сон. Я пишу свои воспоминания о Сергее Есенине.

Сейчас февраль, 1964 год.

Первая моя встреча с Есениным произошла почти полвека назад. Не хватает одного года и одного месяца до этой даты.

В эту минуту мне кажется, что я смотрю с отвесной скалы на раскинувшуюся передо мной равнину, подернутую легким туманом, сквозь завесу которого иногда прорываются яркие картины прошлого. По загадочным законам памяти эта первая встреча с Есениным, со всеми ее мельчайшими подробностями, вырисовывается передо мной так ярко и выпукло, будто произошла она не в марте 1915 года, а вчера.

Сейчас, в ночной тишине, которую нарушает только выюга, образ Есенина встает передо мной, и мне кажется, что в картинной галерее нашей памяти портрет Есенина нарисован какими-то особенно яркими и теплыми красками, – не только потому, что он бесконечно дорог мне, но и потому, что он обладал редким свойством «врезаться» в память всех, кто его видел.

* * *

Март 1915 года. Петроград. Зал Дома Армии и Флота. Литературный вечер, один из тех, которые устраивались в ту пору очень часто. Война, начавшаяся в 1914 году, не только не мешала устройству таких вечеров, но скорее даже способствовала, так как давала повод не только частным импресарио, но и многочисленным общественным организациям приобщаться к делу обороны страны, объявляя, что доход с вечера идет в пользу раненых, на подарки солдатам и т. п.

В антракте подошел ко мне юноша, почти еще мальчик, скромно одетый. На нем был простенький пиджак, серая рубашка с серым галстучком.

– Вы Рюрик Ивнев? – спросил он.

– Да, – ответил я немного удивленно, так как в ту пору я только начинал печататься и меня мало кто знал.

– Я тоже пишу стихи.

Тогда много было пишущих «из народа». Подумалось: вот предстоит казнь – очередного графомана слушать! Но «проклятая» интеллигентность не позволила отмахнуться. Мы отошли в сторонку. И – Боже мой! – на меня повеяло от прочитанного свежим духом земли!

Всматриваюсь в подошедшего ко мне юношу: он тонкий, хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной.

Вот таким голубым он и запомнился мне на всю жизнь.

Мне захотелось определить, понимает ли он, каким огромным талантом обладает. Вид он имел скромный, тихий. Стихи читал своеобразно. Приблизительно так, как читал их и позже, но без того пафоса, который стал ему свойствен в последующие годы. Казалось, что он еще и сам не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки. Он был опьянен запахом славы и уже рвался вперед. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять.

Помню хорошо его манеру во время чтения перебирать руками концы пиджака, словно он хотел унять руки, которыми впоследствии потрясал свободно и смело.

Как выяснилось на этом же вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами. Не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилеве, Ахматовой, он хорошо знал произведения других писателей. Многие стихи молодых поэтов знал наизусть.

В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша.

Один Федор Сологуб отнесся холодно к Есенину. На мой вопрос: «Почему?» – ответил:

– Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен этот легкий успех!

Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь. Но даже такие «мэтры», как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музыкой.

Анализируя сейчас, почти полвека спустя, причины такого необыкновенно легкого и быстрого успеха Есенина, мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, оставляя в стороне огромный талант Есенина, что его появление и быстрое признание были как бы подготовлены той литературной атмосферой, которая царила в ту пору в Петрограде.

В 1915 году уже отошли на второй план первые боевые схватки футуристов, успевших добиться известности (в столице футуризм, разбившись на несколько групп, порой враждовавших друг с другом, перестал занимать публику). Многие футуристы, не переставая называть себя футуристами, начали печататься и в нефутуристических издательствах и журналах, их имена запестрели в газетах и других изданиях, прогрессивных по тому времени.

Появилась новая школа акмеистов с двумя лидерами: Николаем Гумилевым и Сергеем Городецким, в которую вошли уже тогда известные поэты Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Георгий Иванов. У них был свой журнал «Гиперборей», отличавшийся от всех прочих тем, что имел только два отдела: «Стихи» и «Критика» (причем критике подвергались только стихи).

На смену вечерам «одних футуристов» или «одних акмеистов» стали все чаще и чаще устраиваться «смешанные вечера», без упоминания школ, к которым принадлежали выступавшие поэты.

Несмотря на обилие крупных талантов, общая атмосфера в столичной писательской среде была душевной и нездоровой. Пусть просвещенный, но все же «голый эстетизм» – искусство для искусства, стихи для стихов – царил в ней.

«Животрепещущие вопросы» – о народе, о России, о войне – затрагивались как-то вскользь и тоже с позиций эстетизма. Здесь почти все литературные направления, несмотря на их внешнее несходство, как бы сливались в одном течении реки, катившей свои воды мимо народа с его чаяниями и надеждами. Многие поэты и писатели того времени все это сознавали, и некоторые из них (особенно Александр Блок) тяготились этим, но выйти из «заколдованного круга» или не могли, или не решались. И в этот момент появился Есенин.

Для литературного Петрограда «крестьянский парень из Рязани» явился как бы «представителем народа». В душевной комнате запахло свежей травой. Кроме того, огромный природный талант Есенина нельзя было не заметить. К Есенину протянули свои щупальца и эстетствующие дамы (Зинаида Гippiус), и «деловые люди» вплоть до придворных кругов, желая «приручить» «крестьянского парня».

Есенин, сам того не ожидая, оказался «козырем», который противодействующие элементы захотели заполучить для своей игры. Одними (как Зинаида Гippiус) руководило мелкое тщеславие украсить свой салон «восходящей звездой», у других (придворные круги) был более дальний прицел.

Им хотелось сделать Есенина рупором своих взглядов, сделать из него если не придворного поэта, то, по крайней мере, нового, более певучего «соловья над кровью»¹.

Есенин пришел в Петроград минута в минуту, в момент, когда его как бы ожидали многие, хотя и по совершенно разным мотивам. А виновник неожиданного для него торжества всех вежливо выслушивал, хитро улыбаясь и ни с кем не соглашаясь, удивительно ловко обходил расставленные для него сети.

После литературного вечера в марте 1916 года небольшой компанией – я, Чернявский, Струве, Есенин, с которым я познакомился, – мы отправились к Косте Ландау, у которого была отдельная комната в полуподвальном помещении на Фонтанке, на углу Невского. Эту комнату он обставил столь причудливо, что я шутя назвал ей «Лампой Аладдина».

Здесь в течение нескольких дней Есенин читал нам свои стихи. А мы, как замороженные, без усталости слушали их, казавшиеся нам откровением, уводившие нас в совершенно другой мир, вовсе не знакомый или знакомый только понаслышке. В эти дни мы жили и дышали только стихами Есенина. Все остальное отошло на дальний план.

Судя по тому, что я абсолютно не помню, у кого жил в то время Есенин, с кем, помимо нашей компании, он встречался, какие у него были планы на дальнейшее, я, поглощенный его стихами, никогда ни о чем его не расспрашивал и не касался никаких «бытовых вопросов».

Недели через две после первой встречи с Есениным я решил, что можно и нужно познакомиться с его творчеством более широкий круг моих друзей и знакомых. Но для этого надо было найти помещение более обширное, чем подвал Ландау.

Я жил в ту пору на Большой Самсоньевской улице, около Литейного проспекта, снимал комнату на «полном пансионе» у родителей моего друга детства Павлика Павлова. Квартира Павловых занимала целый этаж. Я попросил их уступить на «вечер в честь Есенина» большой библиотечный зал. Они не только охотно согласились, но Анастасия Александровна Павлова взяла на себя обязанность «невидимой хозяйки» готовить чай и угощение, не показываясь гостям, чтобы «не мешать молодежи».

Я разослал по почте приглашения.

В назначенный час публика начала съезжаться.

¹ Так называл Мережковский поэтов, воспевавших войну до победного конца.

Есенин, Чернявский, Ландау и Струве пришли ко мне задолго до этого и встречали гостей вместе со мной. Сначала мы расположились в моей комнате, а когда гости съехались, перешли в библиотечный зал. Здесь Есенин, взобравшись на складную библиотечную лестницу, начал читать стихи.

Выступление юного поэта в тот памятный вечер было только началом его триумфального пути. Все присутствовавшие не были связаны никакими «школами» и искренне восхищались стихами Есенина только потому, что любили поэзию, – ведь то, что они слышали, было так не похоже на все, что им приходилось до сих пор слышать. Неизменным спутником успеха в то время являлась зависть, которой были одержимы более других сами по себе далеко не заурядные поэты Георгий Иванов и Георгий Адамович. Я нарочно не пригласил их.

В тот вечер я сделал все, чтобы даже тень зависти и недоброжелательства не проскользнула в помещение, где Есенин читал свои стихи.

Но не обошлось и без маленького курьеза.

Когда я почувствовал, что Есенин начал уставать, я предложил сделать перерыв. Есенин и наиболее близкие мне друзья снова перешли в мою комнату. Я носился между библиотекой и столовой Павловых, помогая Анастасии Александровне по хозяйству, так как она, верная своему «обету», не показывалась гостям. Вдруг раздался звонок. Пришел запоздалый гость, которого я пригласил специально для Есенина, зная, что он очень любит стихи Баратынского. Это был правнук поэта – Евгений Георгиевич Геркен-Баратынский. Мы задержались на минуту в передней.

В это время я услышал громкий хохот, доносившийся из моей комнаты, и сейчас же открыл дверь. Меня встретило гробовое молчание. В комнате было темно, электричество выключено. Я включил свет. Есенин, лукаво улыбаясь, смотрел на меня невинными глазами. Струве засмеялся и тут же, взяв всю вину на себя, объяснил мне, что Есенин по его просьбе спел несколько деревенских частушек, которые неудобно было исполнять публично.

Стены моей комнаты, отделявшие ее от столовой, были фанерные. Я посмотрел на Есенина и глазами показал ему на стену. Он сразу все понял, виновато заулыбался своей необыкновенной улыбкой и прошептал:

– Ну не буду, не буду!

В это время вошел Геркен-Баратынский. Я познакомил его с Есениным и сказал:

– Вот правнук твоего любимого поэта.

Есенин тут же прочел несколько стихотворений Баратынского.

Потом мы снова перешли в библиотечный зал, и Есенин продолжил чтение своих стихов.

* * *

После вечера в «библиотеке Павлова» наши встречи с Есениным продолжались в подвале «Лампы Аладдина», где Есенин читал все свои новые произведения.

Никому из нас не приходила в голову мысль устраивать какой-либо «литературный кружок» и читать там свои стихи. Мы так были увлечены творчеством Есенина, что о своих стихах забыли. Я думал только о том, как бы скорее услышать еще одно из его новых стихотворений, которые ворвались в мою жизнь как свежий весенний ветер.

Под влиянием наших встреч я написал и посвятил ему стихотворение, которое «вручил» 27 марта 1915 года.

Два дня спустя, 29 марта, Есенин ответил мне стихотворением «Я одену тебя побирушкой».

С этих пор наша дружба была скреплена стихами.

Если я и продолжал выступать на литературных вечерах, когда получал приглашения, то делал это как бы механически. Сейчас меня удивляет, как я мог остаться самим собой и не попасть под его влияние, настолько я был заворочен его поэзией. Может быть, это произошло потому, что где-то в глубине души у меня тлело опасение, что если я сверну со своей собственной дороги, то он потеряет ко мне всякий интерес.

Слушая стихи, Есенин всегда высказывал свое откровенное мнение, не пытаясь его смягчить, если оно было отрицательным. Больше того, если он даже хотел это сделать, то не смог бы. Он не умел притворяться, когда речь шла о поэзии. Это хорошо знали мои друзья по «Лампе Аладдина» и потому не пытались представить на «суд Есенина» свои стихи. Что касается меня самого, то, хотя его просьба в первый день нашего знакомства прочесть ему свои стихи давала мне повод думать, что они ему нравились, я начал читать только тогда, когда убедился, что, несмотря на разные темы и разные «голоса», ему не чуждо мое творчество.

Когда Есенину что-либо нравилось, он высказывал свое одобрение не только словами. Первыми реагировали глаза, в которых загорались какие-то особенные, ему одному свойственные искорки, затем появлялась улыбка, в которой просвечивала радость, а потом уже с губ слетали слова.

Есенин очень любил шутить и балагурить. У него было удивительное умение перевести на «шутливые рельсы» самый серьезный разговор и, наоборот, шутливый разговор незаметно перевести в серьезный. Иногда, как бы тасуя карты партнера, он, хитро улыбаясь, нащупывал мнение собеседника быстрыми вопросами, причем сразу нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит. Как-то, беседуя с ним, я сказал, что у него хитрые глаза. Он засмеялся, зажмурился, а потом открыл свои повеселевшие очи и спросил, улыбаясь:

– Хитрые? Ты находишь, что они хитрые? Значит, считаешь, что я хитрый? Да?

Он очень огорчился, когда я ему ответил, что хитрые глаза совсем не означают, что он хитрый.

– Пойми меня, – объяснял я ему, – что хитрость в том и заключается, чтобы о ней никто не догадывался. А если хитрость сама вылезает наружу, сияет в глазах и как бы довольна, что ее замечают, то какая же это хитрость?

Но Есенин не сдавался, он не скрывал своего огорчения моим «разъяснением» и продолжал:

– Но как могут глаза быть хитрыми, если сам человек не хитер?

– Значит, я неправильно выразился. Не хитрые, а кажущиеся хитрыми.

– Нет, нет, – не унимался Есенин, – вот ты хитришь со мной. Назвал хитрым, а теперь бьешь отбой.

– Можно подумать, что ты цепляешься за хитрость как за высшую добродетель.

– Нет, нет, ты мне отвечай на вопрос: я хитрый? Да?

– Нет, ты совсем не хитрый. Но хочешь казаться хитрым.

– Значит, я все же хитрый, раз хочу быть хитрым.

– Самый хитрый человек – это тот, о хитрости которого никто не подозревает. Хитер тот, о хитрости которого узнают только после его смерти, а какая же это хитрость, если о ней все знают при жизни?

Есенин слушал меня внимательно. Над последней фразой он задумался. Потом, тряхнув головой, засмеялся:

– Ты думаешь одно, а говоришь о другом. Сам знаешь, что таких хитрецов не существует. Шила в мешке не утаишь.

* * *

Увы! Ямы и провалы существуют не только на лесных тропах и на целине, но и в памяти. Я совершенно не помню, как оборвалась пестрая лента встреч в подвале «Лампы Аладдина». Помню только, как мрачнела столица империи, сотрясаемая неудачами на фронте. Мережковский опубликовал в московской газете «Русское слово» мистическую статью «Петербургу быть пусто», вытащив из архива запыленную фразу какого-то старца времен Петра Первого; помню «министерскую чехарду» и отголоски дворцовых клоунад.

Струве отправился на фронт. Чернявский болел. Я получил телеграмму из Тифлиса о серьезной болезни матери и уехал на Кавказ.

После выздоровления матери я возвратился в Петроград. Есенин в это время был взят в армию и служил «нижним чином» в Царском Селе.

Шел 1916 год. Свершилось убийство «легендарного старца» Распутина.

Исчезает хлеб. Появляются очереди. Гудки заводов и фабрик начинают звучать по-иному. В них слышится уже мощный голос 1917 года. Георгий Иванов через 30 лет в своих воспоминаниях, изданных в Париже, жаловался, что «девизом» этого года для «литературного Петербурга» была песенка Михаила Кузмина, которую тот исполнял сам под свой же аккомпанемент на рояле:

Дважды два – четыре,
Два плюс три – пять.
Остальное в мире
Нам не надо знать.

Кадетам грезилась буржуазная республика. Милюков атаковал в Государственной Думе царского премьера Штюрмера. Речь Милюкова была запрещена военной цензурой, но армия машинисток молниеносно перепечатала и распространила ее по всему городу. Через каждые десять строчек в ней повторялись слова:

«Что это – глупость или измена?»

С Есениным в это время я не встречался, так как он жил в Царском Селе на положении солдата. Зато другого солдата «пулеметной роты», Владимира Маяковского, я встречал почти каждый день в квартире Лили Юрьевны Брик, где по вечерам в узком кругу друзей он читал свои замечательные стихи.

Вновь встретился я с Есениным уже после того, как он вышел из «царскосельского плена». Это было недели через две после Февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Клюевым, Петром Орешиним и Сергеем Клычковым. Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.

Сначала я думал, что они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.

– Что, не нравится тебе, что ли?

Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:

– Наше времечко пришло.

Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева,

ни Орешина, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться.

Мы постояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны.

* * *

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означает тот «маскарад», как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся.

– А ты испугался?

– Да, испугался, но только за тебя!

Есенин лукаво улыбнулся.

– Ишь как поворачиваешь дело.

– Тут нечего поворачивать, – ответил я. – Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

– Не обращай внимания. Это все Клюев. Он внушил нам, что настало «крестьянское царство» и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.

– Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?

– Кто его знает, у него все так перекручено, что сам черт ногу сломит. А Клычков и Орешин просто дурака валяли.

Прошло месяца три. Как-то мы шли с Есениным по Большому проспекту Петроградской стороны. Указывая глазами на огромные красивые афиши, возвещавшие о моей лекции в цирке «Модерн», он подмигнул мне и сказал:

– Сознайся, тебе ведь нравится, когда твое имя... раскатывается по городу?

Я грустно посмотрел на Есенина, как бы говоря: если друзья не понимают, тогда что уж скажут враги?

Он сжал мою руку:

– Не сердись, ведь я пошутил.

После небольшой паузы добавил, опять заулыбавшись:

– А знаешь, все-таки это приятно. Но ведь в этом нет ничего дурного. Каждый из нас утверждает себя, без этого нельзя. Афиша ведь – это то же самое, если бы ты размножился и из одного получилось двести или... сколько там афиш бывает? Триста или больше?

Спустя некоторое время я поделился с ним моими огорчениями, что мои друзья и знакомые отшатаются от меня за то, что я иду за большевиками. Вот, например, Владимир Гордин, редактор журнала «Вершины», любивший меня искренне и часто печатавший мои рассказы, подошел ко мне недавно и сказал: «Так вот вы какой оказались? Одумайтесь, иначе погибнете!»

– А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить, что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции – нет.

– Да ты не пробовал, – сказал я.

– Нет, нет, – ответил Есенин с некоторой даже досадой, – у меня все равно ничего не получится, людей насмешу, да и только. А вот стихи буду читать перед народом.

Вдруг он громко рассмеялся.

– Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».

– А он?

– Обозлился на меня страшно.

В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым.

– На улице. Подошел ко мне первый. «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня – коммунист. Даже рифма получается. Правда плохая, но все же рифма...» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте чемоданы и катитесь к чертовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все принял за чистую монету и отскочил от меня, как ошпаренный кот.

* * *

Когда сейчас вспоминаешь о событиях и встречах того времени, некоторые из них кажутся бесконечно далекими, а некоторые такими близкими, будто они произошли вчера. Многие дружеские связи, давно забытые, тогда были крепкими, и рвать их было все-таки больно, и поддержка такого друга, каким был Есенин, в ту пору была гораздо значительнее и глубже, чем может показаться теперь.

Другая поддержка пришла от еще более «аполитичного» поэта, чем мы, Осипа Мандельштама. Меня это особенно радовало в то время. Он не отшатнулся от меня, подобно Владимиру Гордину, Георгию Иванову и многим другим, а всегда сочувственно улыбался при встречах, будучи на несколько голов выше обывательских мнений и предрассудков.

Есенин и Мандельштам, два противоположных по духу поэта той поры, сходились в сочувствии к зарождающейся Советской власти.

Вспоминая об этих незабываемых днях, ставших историческими, не могу умолчать и о моем друге Николае Бальмонте, который оказался дальновиднее и прогрессивнее своего знаменитого отца. Молодой пианист Бальмонт не только поддерживал меня духовно в это переломное время, но бывал со мной вместе на всех большевистских митингах и лекциях.

В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства. Нарком по просвещению А. В. Луначарский назначил меня своим секретарем-корреспондентом в Москву, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть ее корреспондентом в Москве.

Петербургский период моей жизни закончился, но встречи с Есениным возобновились, точно не вспомню, через сколько месяцев, но во всяком случае очень скоро: Есенин оказался тоже в Москве.

Еще в 1914–1915 годах я вел переписку с тремя московскими поэтами, с которыми лично не был знаком, – Сергеем Бобровым, Николаем Асеевым, пригласившими меня сотрудничать в издательство «Центрифуга», и с Вадимом Шершеневичем, издавшим книгу моих стихов «Пламя пышет» (1913) в своем издательстве «Мезонин поэзии».

Вадим Шершеневич, узнав, что я еду в Москву, просил меня остановиться у него. Я воспользовался этим приглашением и первые дни по приезде в Москву прожил у него на Крестовоздвиженском, до получения собственной комнаты в Трехпрудном переулке.

Здесь я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева²).

Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения³.

² Константин Степанович Еремеев (1874–1931) – журналист, большевик. В 1918–1920 годах был директором издательства ВЦИК.

³ Поэзия в большевистских изданиях 1901–1917. Л., «Советский писатель», 1967, с. 192, 195.

Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились Есенин, Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов». Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами⁴, то мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.

Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинистов, так как об этом написано довольно много воспоминаний и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем теория имажинизма, которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич. В 1971 году вышла в свет в издательстве «Наука» книга «Поэзия первых лет революции». В ней, в разделе об имажинизме, много неточностей, вызванных тем обстоятельством, что многие факты не могли быть известны авторам по той простой причине, что часть из них была в свое время опубликована, но стала достоянием различных архивов, а часть еще совсем не опубликована. В частности, авторы книги утверждают, что «имажинисты (подразумеваются все имажинисты. – Р. И.) составляли оппозицию к левому крылу футуризма во главе с Маяковским» (стр. 110).

Если бы они (авторы книги) были знакомы с моей полемикой с Вадимом Шершеневичем (его статьи печатались в газете «Утро России», а мои статьи – в газете «Анархия»)⁵, где я выступал в защиту Маяковского от нелепых нападок Шершеневича, что они, несомненно, упомянули бы об этом и, вероятно, добавили бы, что не все имажинисты были в оппозиции Маяковскому. Кроме того, авторы книги не потрудились просмотреть все советские газеты, выходившие в то время. Иначе они обратили бы внимание на то, что один из имажинистов печатал в советской прессе стихи и статьи: более близкие к революционному духу Маяковского, чем к теоретическим утверждениям своих коллег по имажинизму. Это навело бы их на мысль о более глубоком психологическом анализе тогдашних литературных школ и дало бы повод рассматривать тогдашние взаимоотношения имажинистов с более правильной точки зрения.

В тот период я встречался с Есениным почти ежедневно, и наша взаимная симпатия позволила нам игнорировать всякие «формальности» школы имажинистов, в которой, в сущности говоря, мы были скорее «постояльцами», чем хозяевами, хотя официально считались таковыми.

В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуны» и выхлопотать для нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской. В коммуны вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.

Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.

Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин умел так уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника – невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мной «уплотнился», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру «писательской коммуны». Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен.

⁴ Низами Гянджеви, перевод на русский язык его произведений был осуществлен мной частично в 1941 году и полностью в 1956 году.

⁵ Хранится в Музее Маяковского. Помечено: «Статья Р. Ивнева «Стальной корабль». – Газ. «Анархия», 1918, № 31.

Есенин не удивился, что у меня так мало вещей, потому что тогда больше теряли, чем приобретали. Жизнь в «коммуне» началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю – других напитков он не признавал.

Здесь надо упомянуть (и это очень важно для уяснения некоторых обстоятельств жизни Есенина после возвращения его из Америки), что в ту пору он был равнодушен к вину, у него совершенно не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей и особенно у милейшего и добрейшего Ивана Сергеевича Рукавишников. Есенина просто забавляла эта игра в богему. Ему нравилось наблюдать ералаш, который поднимали подвыпившие гости. Он смеялся, острил, притворялся пьяным, умышленно поддакивал чепухе, которую несли потерявшие душевное равновесие собутыльники. Он мало пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали.

Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное «дополнение» к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовало. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого «ледяного дома». Есенин заметил мое «упадническое» настроение и, как мог, утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы «засядем за работу». При этом он так хитро улыбался, что я понимал, насколько он сам не верит тому, о чем говорит. Я делал вид, что верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное «свободное место» в пятикомнатной квартире – это моя кровать, на остальных же – застрявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя.

На другой день, когда все гости разошлись и мы остались вдвоем, мы вдруг решили написать друг другу акrostихи. В квартире было тихо, тепло, тишайший Гусев-Оренбургский пил в своей комнате свой излюбленный чай. Никто нам не мешал, и вскоре мы обменялись листками со стихами. Вот при каких обстоятельствах «родился» акrostих Есенина, посвященный мне. Это было 21 января 1919 года. Вот почему Есенин к дате прибавил «утро» (этот акrostих вошел в пятый том собрания сочинений Есенина).

Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось. Я вернулся в свой «ледяной дом», проклиная его и одновременно радуясь, что не порвал с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в «коммуну», оставил за собой свою прежнюю комнату, разразился одобрителем хохотом.

Мы продолжали встречаться с ним каждый день. Оба мы сотрудничали в газете «Советская страна», выходившей раз в неделю, по понедельникам. Есенин посвятил мне свое стихотворение «Пантократор», напечатанное впервые в этой газете, я тоже посвятил ему ряд стихов.

Удивительное было время. Холод на улицах, холод в учреждениях, холод почти во всех домах – и такая чудесная теплота дружеских бесед и полное взаимопонимание. Когда вспоминаем друзей, ушедших навсегда, мы обычно видим их лица по-разному – то веселыми, то печальными, то восторженными, то чем-то озабоченными, но Есенин с первой встречи

до последнего дня передо мной всплывает из прошлого всегда улыбающийся, веселый, с искорками хитринки в глазах; оживленный, без единой морщинки грусти, простой, до предела искренний, доброжелательный.

Мы говорили с Есениным обо всем, что нас волновало тогда, но ни разу ни о «школе имажинистов», в которую входили, ни о теории имажинизма. Тогда в голову не приходила мысль анализировать все это. Но теперь я понимаю, что это было очень характерно для Есенина, ибо весь имажинизм был «кабинетной затеей», а Есенину было тесно в любом самом обширном кабинете. Мне кажется, что мы были похожи тогда на авгуров, которые понимали друг друга без слов. Но дружба с Есениным не помешала мне выйти из группы имажинистов, о чем я сообщил в письме в редакцию, которое было опубликовано 12 марта 1919 года в «Известиях ВЦИК» (№ 58). Это было вызвано тем, что я не соглашался со взглядами Мариенгофа и Шершеневича на творчество Маяковского, которое очень ценил.

Мой разрыв с имажинистами совершенно не повлиял на дружеские отношения с Есениным, мы продолжали встречаться не менее часто. С 1 сентября 1918 года я получил новое назначение – завбюро по организации поезда имени Луначарского. А 23 марта 1919 года выехал в командировку в Киев и Харьков. С Есениным я простился дружески. До этого я очень сблизился с Велимиром Хлебниковым, с которым был знаком еще в Петербурге. Свой «ледяной дом» в Трехпрудном переулке я оставил за собой, так как рассчитывал вернуться в Москву месяца через два. Второй ключ от комнаты я передал Хлебникову, и он, как я потом узнал, часто туда приходил и работал. Но вихрь Гражданской войны оторвал меня от Москвы на полтора года; я смог вернуться только в ноябре 1920-го. То, что происходило в это время, я опускаю, так как, во-первых, это не имеет прямого отношения к Есенину, а во-вторых, уже описано в моих воспоминаниях о политкоме Красной Армии Петре Лукомском (лето 1919 года) и в воспоминаниях о Всеволоде Мейерхольде, находившемся тогда в Новороссийске (1919).

Новая моя встреча с Есениным произошла в конце декабря 1920 года.

В первый же день приезда в Москву я помчался к нему в Козицкий переулок. Жил он уже не в той «писательской коммуне», о которой я рассказывал, но в том же переулке, рядом с театром Корша, вместе с Мариенгофом. В общей квартире на третьем этаже они занимали две комнаты.

Было семь часов вечера. Есенина и Мариенгофа не оказалось дома. Соседи сказали, что они на литературном вечере в Большом зале Консерватории. Я отправился на Большую Никитскую. Как только я вошел в Консерваторию, то первыми, кого я увидел, были Есенин и Мариенгоф. Они сбегали с лестницы, веселые, оживленные, держа друг друга за руки. В ту минуту они мне показались двумя гимназистами, резвящимися на большой перемене. Мое появление было для них совершенно неожиданным. Они бросились ко мне с бурной радостью, которая тронула меня и доказала лишний раз, что можно быть большими друзьями и любить друг друга независимо от литературной платформы.

Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, посыпались вопросы, ответы невольно, веселая неразбериха.

После окончания вечера они повели меня к себе, и мы до рассвета пили чай и говорили, говорили без конца обо всем, что нас тогда интересовало. Я вкратце рассказал им свои странствия, похожие на страницы приключенческого романа, они – про свои литературные дела, про свое издательство и свой книжный магазин на Никитской улице, который обещали мне показать завтра же.

И вот на другой день я увидел своими глазами этот знаменитый в то время «книжный магазин имажинистов» на Большой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда переполнен покупателями, торговля шла бойко. Продавались новые издания имажинистов, а в букинистическом отделе – старые книги дореволюционных изданий.

Есенин и Мариенгоф не всегда стояли за прилавками (было еще несколько служащих), но всегда находились в помещении. Во втором этаже была еще одна комната, обставленная, как салон, с большим круглым столом, диваном и мягкой мебелью. Называлась она «кабинетом дирекции».

Как-то раз, когда я зашел в магазин, Есенин встретил меня особенно радостно. Он подошел ко мне сияющий, возбужденный и, схватив за руку, повел по винтовой лестнице во второй этаж, в «кабинет дирекции». По дороге сказал:

– Новое стихотворение только что написал. Сейчас прочту.

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Но я забежал вперед. Это было позже. А в первый день моего знакомства с магазином он с явным удовольствием показывал мне помещение с таким видом, как будто я был покупатель, но не книг, а всего магазина.

Мариенгоф в то время стоял за прилавком и издали посылал улыбки, как бы говоря: «Вот видишь, поэт за прилавком!»

Надо пояснить тем, кто не знаком с эпохой двадцатых годов, что все магазины в ту пору были государственными и Москва сделала исключение только для двух писательских магазинов, в которых шла так называемая частная торговля. Государственное издательство еще не успело наладить массовое издание художественной литературы, а издательство имажинистов выпускало одну книгу за другой. Распространением книг по всей стране ведало учреждение, называвшееся «Центропечать», во главе которого стоял один из самых обаятельных людей, с кем мне приходилось встречаться, Борис Федорович Малкин. «Секрет» успеха и процветания книжного магазина имажинистов состоял в том, что финансовый оборот по тогдашним правилам был весьма прост. Как только типография заканчивала брошюровку очередного издания имажинистов, Есенин или Мариенгоф (а иногда оба вместе), взяв несколько экземпляров напечатанной книги, направлялись в служебный кабинет Малкина, и тот покупал все издание «на корню», выдавая деньги вперед. Но порой, когда для оборота книжного магазина нужны были деньги, Есенин и Мариенгоф шли к Малкину не с готовыми экземплярами книги, а с «заявкой», что такая-то книга готовится к печати, и просили Малкина выдать им аванс в счет издания. Обычно Малкин удовлетворял их просьбу.

С именем Бориса Федоровича Малкина связан один очень забавный эпизод.

В числе издававшихся имажинистами в ту пору многочисленных книг был и сборник стихов Вадима Шершеневича, который в погоне за оригинальностью назвал его «Лошадь как лошадь». Когда эта книга поступила в «Центропечать», то какая-то неопытная сотрудница, в обязанность которой входило распределять книги по тематике, направила все издание книги, основываясь на заглавии, в книжный магазин, распространявший сельскохозяйственную литературу.

Бедный Малкин, узнав об этом, схватился за голову.

Потом он рассказывал Есенину о своей беседе с Лениным по этому поводу. Когда Ленин узнал, что произошло, он разразился смехом. Но при расставании сделал строгий выговор Малкину и потребовал от него наказания виновника этой путаницы. Малкин исполнил требование Ленина и перевел юную сотрудницу на другую работу, не зная, по его собственному признанию, в чем она больше виновата – в невежестве, рассеянности или в том и в другом вместе.

Долгое время после этого друзья и знакомые Малкина приставали к нему с просьбой рассказать подробно о своей беседе с Лениным по поводу книги «Лошадь как лошадь».

Конечно, больше всех был доволен этим происшествием главный виновник этой путаницы веселый и остроумный Вадим Шершеневич: его книга, хотя и своеобразным путем, но стала известна В. И. Ленину.

Есенин был очень увлечен издательской работой, и, мне кажется, его больше всего увлекал сам процесс этой деятельности.

Так как Есенина легче было застать в магазине, чем дома, я стал проводить в нем почти весь день, и он сделался для меня «вторым домом», тем более что был недалеко от места, где я нашел приют после возвращения в Москву, ибо моя комната в Трехпрудном переулке («ледяной дом») давно уже была потеряна. Уезжая в командировку весной 1919 года, я ее не забронировал, рассчитывая скоро вернуться. А приютил меня директор «Дома искусства» Иван Сергеевич Рукавишников, из-за которого в 1919 году я сбежал из «писательской коммуны» в Козицком переулке.

В этом дома на улице Воровского, 52 (в котором ныне помещается Союз писателей СССР) я и получил на втором этаже прекрасную комнату. Дом отапливался, внизу находилась столовая для сотрудников и живущих в доме немногих писателей. Я упоминаю об этом потому, что Москва в те годы была по-прежнему холодная и голодная.

Среди близких друзей Есенина и Мариенгофа были в те времена Гриша Колобов, занимавший ответственный пост в НКПС, и Ванечка Старцев – юноша, «еще не нашедший себя», а впоследствии крупный работник. Я познакомился с ним еще в 1919 году и был тоже в дружеских отношениях.

Колобов жил в одной квартире с Есениным и Мариенгофом.

В этот же период времени Есенин сблизился с Вячеславом Полонским, который очень ценил его творчество.

Кто из мемуаристов не испытывал момента, когда рука, быстро и гладко скользящая по бумаге, как бы прорезая волны воспоминаний, то бурных, то затихающих, вдруг начинает тяжелесть и наконец опускается, будто налитая свинцом.

Вот такое ощущение испытываю я сейчас, когда приступаю к описанию одного грустного и нелепого столкновения двух талантливейших, но совершенно разных поэтов – Сергея Есенина и Бориса Пастернака.

Если любишь и ценишь кого-либо из друзей, то всегда бывает больно за них, когда они теряют душевное равновесие.

Столкновение Есенина и Пастернака произошло в кафе поэтов «Домино», принадлежащем Всероссийскому Союзу поэтов (СОПО)⁶. Точно дату не помню, но, по моим вычислениям, это было в период с декабря 1920 по февраль 1921 года.

В двадцатых годах в этом кафе происходили почти ежедневно выступления поэтов, как по заранее составленной правлением Союза программе, так и экспромтом.

Причину столкновения, вернее, повод, из-за которого оно произошло, я не знаю, так как вошел в кафе в момент, когда ссора была в разгаре.

Оба поэта были возбуждены, но держались корректно, по видимости, не желая «раздувать пожара», но «пожар» все же разгорелся как бы помимо их воли.

Зрительно я очень хорошо помню и фигуру Есенина и его насупившееся лицо, гневно сверкающие глаза Пастернака и какую-то необычную для него растерянность, явно вызванную отвращением ко всяким столкновениям, да еще вдобавок публичным. Чувствовалось, что ему очень хочется махнуть рукой на все и уйти со «спортивной площадки», на которой он оказался случайно и не по своей воле.

⁶ Помещалось оно на Тверской улице, наискосок от здания Центрального телеграфа, в ту пору существовал только его фундамент.

Увидев эту сцену, я так растерялся, что не мог произнести ни слова.

Первую фразу, которую я услышал, сказал Есенин, хмуро глядя на Пастернака:

– Ваши стихи косноязычны. Их никто не понимает. Народ вас не признает никогда!

Пастернак с утрированной вежливостью, оттеняющей язвительность, ответил:

– Если бы вы были немного более образованны, то вы знали бы о том, как опасно играть со словом «народ». Был такой писатель Кукольник, о котором вы, может быть, и не слышали. Ему тоже казалось, что он – знаменитость, признанная народом. И что же оказалось?

– Не волнуйтесь, – ответил Есенин. – О Кукольнике я знаю не меньше, чем вы. Но я знаю также и то, что наши потомки будут говорить: «Пастернак? Поэт? Не знаем, а вот траву пастернак знаем и очень любим».

Вокруг Есенина и Пастернака стала собираться публика. Но тут подошел дежуривший в этот день в Союзе молодой поэт Матвей Ройзман и со свойственной ему дипломатичностью развел их в разные стороны.

Есть «любители поэзии», которые, находя у какого-нибудь поэта большое количество черновиков одного стихотворения, делают вывод: «Поэт много работал над стихом. Блеска и выразительности он достиг благодаря упорному труду».

Когда же они удостоверяются, что стихотворение написано сразу и без единой пометки (как, например, «Скажи мне, ветка Палестины»), то у них готова другая формула: «Все гениальное рождается без всякого труда».

Почти на моих глазах Есенин написал стихотворение «Песнь о хлебе» и прочел его мне наизусть, держа в руке лист бумаги с еще не высохшими чернилами.

В этом стихотворении не было ни одной пометки, и оно никогда не исправлялось.

Можно ли сделать из этого вывод, что Есенин всегда писал стихи «молниеносно», без единой пометки и, следовательно, никогда не работал над стихом?

Этот вывод не сделает никто. Разве только тот, кто считает непреложной истиной, что «все гениальное рождается без всякого труда».

Нет такого поэта, если он действительно поэт, который пишет по готовому рецепту, составленному им самим или кем-нибудь другим.

(Я говорю, разумеется, о настоящем творчестве, а не механическом, которое, увы, всегда существовало и, очевидно, долго будет существовать.)

У Есенина много стихов, которые он написал «на едином дыхании», как «Песнь о хлебе», и много таких, над которыми он работал до изнеможения. Но те и другие были рождены в порыве вдохновения, и все это потому, что он не мог их не написать. Они были в его душе и требовали выхода.

Означает ли это, что у Есенина не было ни одного стихотворения, созданного механически? Отнюдь нет, ибо не часто найдешь такого поэта, который никогда не прибегал бы к механическому способу писания стихов.

Я считаю, что стихи можно разделить на две категории. Первая – это стихи, которые поэт не мог не написать. Вторая – это стихи, которые поэт мог бы и не писать.

Говоря о творчестве Есенина, я отвечаю читателям, которые после его смерти просили меня рассказать, как он работал над своими стихами.

«Ключи» от тайны обаяния и успеха его поэзии находятся не в шкатулке формул, а в единстве дыхания поэта с дыханием своего народа.

* * *

После долгой разлуки при встрече с Есениным и Мариенгофом не было сказано ни одного слова о моем выходе из группы имажинистов. Радость встречи была так велика, что

никому из нас не приходило в голову возвращаться к прошлому и обсуждать причины моего разрыва с имажинистами.

Разумеется, мы читали друг другу свои стихи. Мариенгоф любил только «острые блюда» в стихах. У Есенина был более широкий взгляд на искусство. Любовь к поэзии у Есенина была врожденной, если так можно выразиться. Он необычайно тонко чувствовал, когда стихотворение настоящее, идущее из глубины души, и когда оно «искусственное», надуманное.

Как талантливый композитор не может перенести не только фальшивой ноты, режущей ухо, но и «внутренней фальши», хорошо задрапированной высокой техникой, так и Есенин чувствовал, как никто, малейшее фальшивое звучание. С ним было очень легко и радостно не теоретизировать о стихах, а просто слушать его поэзию и читать ему свое.

Однажды Есенин заговорил об издании моих стихов. Мы сидели за кофе в одной из «тайных столовых» (их было немного, и они тоже составляли «исключение» вроде книжных магазинов, с той разницей, что магазины существовали с разрешения Моссовета, а «тайные столовые» без всякого разрешения, вопреки закону).

В двадцатых годах было еще много «барских квартир», или совсем не уплотненных, или формально уплотненных, а по существу единоличных. В них открывали столовые или «дамы общества», или просто «предприимчивые особы». Они покупали на частном рынке хорошие продукты и готовили дорогие обеды для знакомых и полужнакомых посетителей. Все шло до поры до времени гладко, но иногда спокойствие барской квартиры нарушалось «налетом» милиции, составлялся протокол. Записывались фамилии посетителей, иногда вылавливались «подозрительные лица», потом все утихомиривалось, и перепуганные «дамы» и «особы» снова приходили в себя и продолжали свою незаконную деятельность. Столовая, в которой мы сидели с Есениным, была его излюбленной, так как находилась на Никитской улице, наискосок от магазина. Есенин приступил к разговору сразу и неожиданно:

- А знаешь, хорошо бы издать твою книгу.
- Где?
- Как где? В нашем издательстве.
- Но я же... не имажинист. Я вышел из группы.
- Это ничего не значит. Издадим – и все.

Это предложение застало меня врасплох. Я совершенно не думал об издании книги в издательстве имажинистов, тем более что вел уже переговоры с Госиздатом. Я сказал об этом Есенину.

- Улита едет, когда-то будет.
- Ты думаешь?
- Уверен. Пока они раскачаются, мы двадцать книг успеем выпустить.
- Не знаю, право, удобно ли это будет. Тебя и Мариенгофа я люблю не только как поэтов, но и как хороших друзей, но раз я вышел из группы имажинистов...

Есенин перебил меня:

- Все это чепуха. Вот Хлебников дал согласие, и мы его издаем.

Нет поэта, который не хотел бы издать свои стихи, но у меня все же было какое-то чувство неловкости. Я поделился своими сомнениями с Есениным.

- Стихи – главное, – сказал Есенин, ласково и лукаво улыбаясь. – Хорошие стихи всегда запомнят, а как они изданы и при каких обстоятельствах – скоро забудут.

Через несколько дней Есенин снова вернулся к этому разговору уже в присутствии Мариенгофа, который поддержал его с большой охотой, но добавил:

- Рюрик должен снова войти в нашу группу.

Я запротестовал:

– Выйти, войти – это не серьезно. Да еще понадобится писать об этом какое-то письмо.
– Зачем официальщина? Напиши письмо, и не в газету, а нам: дорогие Сережа и Толя, я опять с вами. Вот и все.

Есенину это понравилось.

– Молодец, Толя! Просто и... неясно.

Оба рассмеялся, за ними и я.

Так совершилось мое «грехопадение». Я дал согласие.

Есенин рьяно взялся за подбор стихов. И «родилась» моя книга «Солнце во гробе» (название взято из древнерусской молитвы, о существовании которой знал Есенин). Фактически он был единственным редактором книги, причем, в отличие от многих редакторов, он только выбирал стихи, но ни разу не предлагал что-либо в них изменить – ни одной строчки, ни одного слова. Мариенгоф установил последовательность. Книга вышла в свет в издательстве имажинистов.

Вскоре в том же издательстве вышла вторая моя книга – «Четыре выстрела в четырех друзей» (опыт параллельной биографии). Идея этой книги зародилась у Есенина и была поддержана как Мариенгофом, так и Шершеневичем.

Книга «Солнце во гробе» еще печаталась, когда Есенину пришла в голову мысль устроить необыкновенный литературный вечер, на котором выступали бы поэты всех направлений. Мы долго обсуждали с ним этот вопрос, потому что Мариенгоф был против устройства такого вечера «всеобщей поэзии». Он считал, что лучше устроить один «грандиозный вечер имажинистов, только имажинистов», но Есенин был непреклонен. Мариенгоф махнул рукой и сказал:

– Я, во всяком, случае не буду выступать на таком вечере.

На этом его оппозиция и закончилась, а Есенин и я начали вести переговоры с теми поэтами, которых мы считали нужным привлечь независимо от школ и направлений. Я предложил назвать этот вечер «Россия в грозе и буре». Это название, на мой взгляд, оправдывало участие поэтов разных направлений.

Название Есенину очень понравилось. Поддержал он и мое намерение пригласить на вечер А. В. Луначарского. На другой день я пошел к Анатолию Васильевичу. Он одобрил нашу идею и охотно дал согласие произнести вступительную речь.

Через неделю-две состоялся этот интересный и своеобразный литературный вечер, афиша которого у меня сохранилась.

Вскоре после этого произошло любопытное событие, о котором я вспомнил лишь недавно, разбирая свои рукописи, переданные мною в филиал Государственного литературного архива Евдоксии Федоровне Никитиной.

Нашел письмо Луначарского к Карахану в Наркомат иностранных дел, датированное 10 февраля 1921 года:

«Уважаемый товарищ Карахан!

Прошу Вас оформить поездку за границу поэтов Сергея Есенина и Рюрика Ивнева».

Прочтя этот документ, как будто он был фонарем, осветившем забытый уголок моей памяти, я сразу вспомнил все.

Мы часто говорили с Есениным о далеких странах, в которых никогда не бывали. Кого из поэтов не влекло к путешествию!

Продолжая дружить с Мариенгофом, Есенин и я все более сближались, и постепенно у нас начал создаваться «свой мир» – близкий и дорогой только нам двоим, третьему здесь не было места. Это происходило стихийно, незаметно даже для нас самих. Это сближение и так уже близких друзей происходило без охлаждения к третьему другу, к Мариенгофу.

Подобно тому, как неожиданно для меня было предложение Есенина издать мою книгу стихов в 1920 году, так же неожиданно и вдобавок одновременно мы пришли с ним к мысли,

что хорошо было бы поехать на два-три месяца за границу, «людей посмотреть и себя показать», увидеть новые страны, новые города. Оба мы были молоды, оба любили Россию, как нам казалось, какою-то особенной любовью, и нам хотелось заразить этой любовью чужие страны. И вот я снова у Анатолия Васильевича. Как он умел все понимать и чувствовать! А к Есенину и ко мне он относился с каким-то трогательным вниманием. Я вышел от А. В. Луначарского с письмом к Карахану в НКВД.

Итак, решено – мы едем за границу. Все было сделано, все готово. Но... вскоре после того как письмо А. В. Луначарского к Карахану оказалось у нас в руках, в Грузии была установлена советская власть. С Грузией у меня были давние связи.

Когда я узнал, что Грузия стала советской, мне страстно захотелось туда вернуться. Возможно, и у Есенина были какие-нибудь изменения в планах ехать за границу, ибо если бы он сильно воспротивился моей поездке в Грузию, то я, может быть, и поборол бы свое желание туда поехать.

Так или иначе, наша поездка расстроилась. Письмо А. В. Луначарского к Карахану сохранилось у меня, мы с Есениным даже не успели передать его по назначению.

Итак, снова разлука с Есениным, теперь уже не на полтора, а на два года.

Если стать спиной к отелю «Люкс» на улице Горького (ныне Тверская), то на противоположной стороне нельзя было не заметить вывеску кафе «Стойло Пегаса». В то время улица эта была узкой. Вот в этом-то кафе я вновь встретил Есенина в начале августа 1923 года.

Встреча была настолько своеобразной и так ярко мне запомнилась, что я не могу не описать ее во всех подробностях. Но перед этим я должен сказать несколько слов, что было с нами в промежутки между 1921 и 1923 годами.

Есенин через несколько месяцев после нашей разлуки познакомился в студии художника Якулова с гостившей в Москве Айседорой Дункан, на которую он произвел такое сильное впечатление, что она не могла себе представить дальнейшей жизни без Есенина. Он искренне ответил ей на ее большое чувство, и они отправились вместе за границу, где у Дункан предстояли публичные выступления во многих городах многих стран.

Я вернулся из Грузии в Москву в середине 1922 года. В это время «Стойло Пегаса» еще существовало. В правлении «Ассоциации вольнодумцев» были в то время Мариенгоф, Иван Грузинов, Николай Эрдман и Матвей Ройзман. Я был введен в правление и стал принимать участие в заседаниях и выступлениях.

Мы знали по письмам Есенина, что гастроли Айседоры Дункан в скором времени заканчиваются и что приближается момент возвращения супругов в Москву, но точного дня приезда никто из нас не знал.

И вот однажды, в начале августа 1923 года, когда я находился в «Стойле Пегаса» и только собирался заказать себе обед, с шумом распахнулась дверь кафе и появился Есенин. В первую минуту я заметил только его. Он подбежал ко мне, мы кинулись в объятия друг к другу. Как бывает всегда, когда происходят неожиданные встречи друзей, хочется сказать много, но, в сущности, ничего не говоришь, а только улыбаешься, смотришь другу в глаза, потом начинаешь ронять первые попавшиеся слова, иногда не имеющие никакого отношения к данному моменту. Так было и на этот раз. Я не успел еще прийти в себя, как Есенин, показывая на стройную даму, одетую с необыкновенным изяществом, говорит мне:

– Познакомься. Это моя жена, Айседора Дункан.

А ей он сказал:

– Это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам.

Айседора ласково посмотрела на меня и, протягивая руку, сказала на ломаном русском языке:

– Я много слышал и очень рада... знакомить...

Вслед за Дункан Есенин познакомил меня с ее приемной дочерью Ирмой и ее мужем – Шнейдером.

Я всмотрелся в Есенина. Он как будто такой же, совсем не изменившийся, будто мы и не расставались с ним надолго. Те же глаза с одному ему свойственными искорками добродушного лукавства. Та же обаятельная улыбка, но проглядывает, пока еще неясно, что-то новое, какая-то небывалая у него прежде наигранность, какое-то еле уловимое любованиe своим «европейским блеском», безукоризненным костюмом, шляпой. Он незаметно для самого себя теребил свои тонкие лайковые перчатки, перекладывая трость с костяным набалдашником из одной руки в другую.

Публика, находившаяся к кафе, увидев Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло не ускользнуть от него. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне:

– Ты еще не обедал? Поедем обедать? Где хорошо кормят? В какой ресторан надо ехать?

– Сережа, пообедаем здесь, в «Стойле». Зачем куда-то ехать?

Есенин морщится.

– Нет, здесь дадут какую-нибудь гадость. Куда же поедем? – обращается он к Шнейдеру.

Кто-то из присутствующих вмешивается в разговор:

– Говорят, что самый лучший ресторан – это «Эрмитаж».

– Да, да. «Эрмитаж», конечно, «Эрмитаж», – отвечает Есенин, как будто вспомнив что-то из далекого прошлого.

Айседора Дункан улыбается, ожидая решения.

Наконец все решили, что надо ехать в «Эрмитаж».

Теперь встает вопрос, как ехать.

– Ну конечно, на извозчиках.

Начинается подсчет, сколько надо извозчиков.

– Я еду с Рюриком, – объявляет Есенин. – Айседора, ты поедешь...

Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто-то бежит за извозчиками, и через несколько минут у дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айседора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем-то еще. В третий Есенин и я.

По дороге в «Эрмитаж» разговор у нас состоял из отрывочных фраз, но некоторые из них мне запомнились. Почему-то вдруг мы заговорили о воротничках.

Есенин:

– Воротнички? Ну кто же их отдает в стирку? Их выбрасывают и покупают новые.

Затем Есенин заговорил почему-то о том, что его кто-то упрекнул (очевидно, только что, по приезде в Москву) за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его.

– Все это выдумки – я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары.

После паузы добавил:

– И тебе посылал, ты получил?

Я, хотя ничего не получил, ответил:

– Да, получил.

Есенин посмотрел на меня как-то растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему.

По приезде в «Эрмитаж» начались иные волнения.

Надо решить вопрос: в зале или на веранде? Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик падет наш выбор.

– Где лучше, где лучше? – поминутно спрашивал Есенин.

– Сережа, уже все равно, где-нибудь сядем, – говорил я.

– Ну, хорошо, вот здесь, – решает он, но, когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет:

– Здесь свет падает прямо в лицо.

Мы волей-неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику.

Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко. Наконец мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забраковать столик.

Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего-нибудь особенного, а «особенного» как раз и не было.

С официантом он говорил чуть-чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по-русски.

Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной прежний «питерский» Есенин.

Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Айседорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях зреет перелом.

Вскоре после обеда в «Эрмитаже» я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пре-чистенке, где помещалась студия Дункан (во время отсутствия танцовщицы студией руководила Ирма). Айседора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже.

Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один – образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображения, другой – образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.

Это было первое впечатление от разговоров простых, душевных (мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем – Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе... Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:

– Она все понимает, все, ее не проведешь.

Дункан никогда не говорила мне в глаза, но Мариенгоф и некоторые другие передавали, что больше всех и глубже всех любит ее Есенина Риурик – так она произносила мое имя. Не знаю, чем я заслужил такое трогательное внимание ко мне. Первое время ни о каких литературных делах с Есениным мы не говорили, но «жизнь брала свое», и вот начали строиться разные планы.

Шли разговоры о необходимости устроить грандиозные вечер в тогдашней «цитадели поэзии» – Политехническом музее. Нашлись, конечно, и организаторы, и импресарио, и администраторы. Мариенгоф настоял, чтобы вечер был устроен под «флагом имажинистов». Есенин в ту пору еще не успел окончательно охладеть к этой школе и согласился.

И вот вскоре по всему городу запестрели огромные афиши, извещающие о «вечере имажинистов», на котором приехавший из-за границы Сергей Есенин поделится с публикой своими впечатлениями о Берлине, Париже и Нью-Йорке и прочтет свои новые стихи.

...24 августа 1923 года задолго до назначенного часа народ устремился к Политехническому музею. Здание стало походило на осажденную крепость. Отряды конной милиции

едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробивались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты. Участники пробивались с неменьшим трудом.

И вот вечер наконец начался.

Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью-Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на внешнее спокойствие. Публика встретила появление его на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая-то неясная, но глубокая тревога.

Наконец наступила тишина, и раздался неуверенный голос Есенина. Он сбивался, делал большие паузы. Вместо более или менее плавного изложения своих впечатлений Есенин произносил какие-то отрывистые фразы, переходя от Берлина к Парижу, от Парижа к Берлину. Зал насторожился. Послышались смешки и пока еще негромкие выкрики. Есенин махнул рукой и, пытаясь овладеть вниманием публики, воскликнул:

– Нет, лучше я расскажу про Америку. Подплываем мы к Нью-Йорку. Навстречу нам бесчисленное количество лодок, переполненных фотокорреспондентами. Шумят моторы, щелкают фотоаппараты. Мы стоим на палубе. Около нас пятнадцать чемоданов – мои и Айседоры Дункан...

Тут в зале поднялся невообразимый шум, смех, раздался иронический голос:

– И это все ваши впечатления?

Есенин побледнел. Вероятно, ему показалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся:

– Не выходит что-то у меня в прозе, прочту лучше стихи!

Я вспомнил наш давнишний разговор с Есениным весной 1917 года в Петрограде и его слова: «Стихи могу, а вот лекции не умею».

Публику сразу как будто подменили, раздался добродушный смех, и словно душевной теплотой повеяло из зала на эстраду. Есенин начал, теперь уже без всякого волнения, читать стихи громко, уверенно, со своим всегдашним мастерством. Так бывало и прежде. Стоило слушателям услышать его проникновенный голос, увидеть неистово пляшущие в такт стихам руки и глаза, устремленные вдаль, ничего не видящие, ничего не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него нет соперника. После каждого прочитанного стихотворения раздавались оглушительные аплодисменты. Публика неистовствовала, но теперь уже от восторга и восхищения. Есенин весь преобразился. Публика была покорена, зачарована, и если бы кому-нибудь из присутствующих на вечере напомнили его беспомощные фразы о трех столицах, которые еще недавно раздавались в этом зале, тот не поверил бы, что это было в действительности. Все это казалось нелепым сном, а явлю был триумф, небывалый триумф поэта, покорившего зал своими стихами. Все остальное, происходившее на вечере: выступления других поэтов, в том числе и мое, – отошло на третий план. После наших выступлений снова читал Есенин. Вечер закончился поздно. Публика долго не расходилась и требовала от Есенина все новых и новых стихов. И он читал, пока не охрип. Тогда он провел рукой по горлу, сопровождая этот жест улыбкой, которая заставила угомониться публику.

Так закончился этот памятный вечер.

Я никогда не рассказывал про его отношения с Дункан, хотя чувствовал, что у них зреет разрыв.

Мне казалось тогда, да и теперь я остаюсь при своем убеждении, что при самой большой духовной близости даже закадычные друзья не должны касаться некоторых сторон

жизни, связанных с любовью. Есенин, несомненно, любил Айседору Дункан, и мне не только тогда не хотелось, но и сейчас не хочется строить догадки о причинах их разрыва. Это дело самого Есенина и самой Айседоры. Я любил Есенина и как поэта, и как друга и питал к Айседоре Дункан самые теплые дружеские чувства, и этот разрыв, независимо от причин, породивших его, произвел на меня тягостное впечатление.

Об этом разрыве я узнал только после того, когда, придя как-то к Мариенгофу, застал там Есенина, распаковывающего свои чемоданы. Он вернулся в ту квартиру, в Козицком переулке, в которой жил с Мариенгофом до своей поездки с Дункан за границу.

Я подумал, как складно складывается судьба людей. Вот если бы в феврале 1921 года не расстроилась наша поездка с Есениным за границу, то не было бы и поездки с Дункан, которая ворвалась в жизнь Есенина не «попутным ветром», а скорее самумом, перенесшим его в другой мир, давший ему много красочных и ярких впечатлений и переживаний, но в какой-то степени опустошивший его душу. Я уже не раз упоминал о моем восхищении Айседорой Дункан, о моих дружеских чувствах к ней и глубоком уважении, но это не мешает мне считать, что поездка Есенина была роковой. Здесь дело даже не в самой Дункан, а в той резкой перемене жизни Есенина, которая наступила для него с того дня, когда он уехал из России.

Сильное впечатление имеет не только свои плюсы, но и свои минусы. Закаленный жизнью пожилой человек, может быть, и перенес бы сравнительно благополучно такую встряску, но Есенин был молод, впечатлителен и уж никак не мог считаться в ту пору закаленным жизнью. Но это еще полбеды. Главное душевное потрясение заключалось в том, что как бы он искренне ни любил Айседору, но, во-первых, для его самолюбия не могло пройти бесследно, что не он, известный русский поэт, получивший признание еще до революции, привлекал внимание заграничной публики, а его спутница, артистка с мировым именем. Он был только «добавочной сенсацией», но никак не главным козырем гастрольной игры.

Я не был около Есенина и Дункан во время их заграничной поездки, но я много слышал от людей, заслуживающих полного доверия, что Есенин чувствовал себя не в своей тарелке, часто оказывался в двусмысленном положении. Все это не могло не действовать на него.

Несомненно, что и пристрастие к алкоголю зародилось в нем не в рязанской избе, не в Петрограде 1915–1917 годов, не в Москве 1918–1919 годов. Все это время, начиная с Петрограда (с небольшим перерывом), я часто встречался с ним и знаю хорошо и точно, что он был равнодушен к вину. Особенно это стало мне ясно, когда мы жили под одной крышей в писательской «коммуне». Миф № 1, созданный вокруг его имени далекими и от Есенина и от литературы безграмотными и беспринципными людьми, знавшими о существовании Есенина лишь от «окололитературных» пьяниц и забулдыг, не нуждается в опровержении, до того он нелеп и беспочвен.

Представьте себе, что отпетые игроки, одержимые картоманией и рулетоманией, пытались бы провозгласить своим «вожаком» Достоевского, о котором они узнали только то, что один раз в Дрездене он «проигрался до ниточки» в тамошнем казино, и вам станет ясно, какое кощунство со стороны людей, опустившихся до дна, стараться загрязнить святые имена, чтобы почувствовать себя в своем воображении чище, чем они были на самом деле.

Но, как известно, недаром существует иезуитское правило: «Клевещите, клеветайте, что-нибудь да останется». И вот мне часто приходилось слышать вопрос молодых людей, далеких от мысли чернить память Есенина: правда ли, что Есенин писал свои стихи только тогда, когда находился в состоянии опьянения?

Трижды развеянный по ветру миф о Есенине все же оставил, оказывается, свои следы.

Я пишу в надежде, что те, кто не научился чувствовать правду, поверят мне, знавшему Есенина очень близко, что даже в самые трудные моменты его жизни, уже после возвращения из-за границы, с ним подобного никогда не случалось.

Ко всем обстоятельствам, ломавшим его жизнь и подтачивавшим здоровье, нельзя не прибавить еще одного: при всем обаянии Айседоры столь большая разница в годах не могла психологически пройти для Есенина бесследно, особенно когда в некоторых кругах становилась притчей во языцех. Опять-таки большинство друзей не придавали этому особенного значения. Но жизнь есть жизнь.

Вспомните строчку из прекрасного стихотворения Анны Ахматовой:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.